

Ася
Бексер



Зеркальная
галерея



B

Ася Векслер · Зеркальная галерея



Ася
Векслер
—
Зеркальная
галерея

Третья книга



Советский писатель. Ленинградское отделение
1989

ББК 84Р7

В26

Векслер А.

В26 Зеркальная галерея: Стихи.— Л.: Советский писатель, 1989.— 128 с.

ISBN 5—265—00681—8

В свою третью стихотворную книгу ленинградская поэтесса Ася Векслер, художник-график по профессии, включила лирику последних лет. Будучи убежденным сторонником «ленинградской школы» в поэзии, она стремится в своих стихах к образной четкости и точности поэтического слова.

В $\frac{4702010202-315}{083(02-89)}$ 178—89

ББК 84Р7

Художественное оформление автора

В $\frac{4702010202-315}{083(02)-89}$ 178—89

ISBN 5—265—00681—8

© Издательство «Советский писатель», 1989 г.

* * *

Вот речь ведется снова
от первого лица.
И снова — ни полслова
для красного словца.

Не лоск и не искусство —
ей любо всей насквозь
лишь то, что сгустком чувства
и мысли запеклось.

Слышны ль тебе, страница,
не дождь и вихрь во мгле —
вторые, третьи лица
в единственном числе?

Какой он ни живучий,
исповедальный стих,
но тщетен вне созвучий,
рождаемых в других.

И смысл всех откровений
не слух и не чутье,
а чудо совпадений,
когда у всех — свое.

СЕНТЯБРЬ

Я сентябрю, где яблоки и вина,
другой сентябрь сегодня предпочту.
Там ни души. Там терпкая рябина.
И долгий привкус горечи во рту.
И тшечно кто-то голосом невнятным
зовет кого-то к позднему столу.
И мне уже становится понятно,
что нет цены последнему теплу.

* * *

С какой поспешностью окно
меняет свет и тень.

Мелькнет рассвет —

и вновь темно,

а ночь мала, как день.

И время не умерит пыл,

вторгающийся в стих,

хоть, верно, выбились из сил

две стрелки часовых.

И трижды прав, кто говорит
годам прожитым вслед:

«Без передышки жизнь горит,
как спичка: раз — и нет».

Вот и моя пришла пора
признать закон огня.

Быстрее бикфордова шнура
сгорает жизнь моя.

Смотрю на мир во все глаза,
хочу продлить с ним связь,
но вспоминаю, что нельзя
гореть, не торопясь.

* * *

Птиц четверкой — временами года
блещущая для отвода глаз,
от невозвратимости природа,
как умеет, отвлекает нас.

Осень и зима, весна и лето
чередой вернутся, пролетев.
Пусть не бесконечна песня, это —
все же нескончаемый припев.

НАВОДНЕНИЕ

Ветра невского свирепость...

Мне на плечи кидается век-волкодав...

О. Мандельштам

1

Ополчаются, бессонны,
как за росчерком пера,
скандинавские циклоны,
прибалтийские ветра.

Не узнать реки степенной —
вероломна и черства,
к самой верхней из ступеней
подбирается Нева.

Там на лучшую из комнат
лег предвестником беды
у одной моей знакомой
темный отсвет от воды.

И в моей не просветленье,
не тишайшая пора:
лишь в зловещем направленьи
силу пробуют ветра.

Дуют так, что не спасают
кров и стены. С мостовой,
прорываясь, сон пронзают
осень, листья, вихрь сквозной.

Гнутся в доме дуги веток,
и надежда чуть жива,
что, быть может, напоследок
волю празднует Нева.

2

Впрямь с неслыханным упорством
завывают даль и высь.
На собаке длинношерстной
дыбом космы поднялись.

Не найти нигде ни метра,
чтоб, хоть с горем пополам,
устоять в порывах ветра
века, выпавшего нам.

Злоба мира свищет рядом,
вся вне правил и вне прав.
Этот век, чреватый адом,
волк он или волкодав?

Как сгустились в нем причины
вопрошать и ждать ответ.
До естественной кончины
доживем мы или нет?

Дочерпаем, умирая,
дней и сил своих запас
или сгинем, ощущая
зависть к павшим прежде нас?

Зря, что ль, зная все заранее,
не сорвался с высоты
конь, обузданный на грани
над обрывом, у черты?

ГАЗЕТНЫЙ СНИМОК

Убит, как при фюрере или при дуче,
парнишка во время военного путча.
Уже он не просит, лицо заслоня:
— Пожалуйста, не убивайте меня.

Лежит, босоногий, тринадцатилетний,
навек захлебнувшись мольбою последней,
и все еще слышит сквозь ужас родня:
— Пожалуйста, не убивайте меня.

Срывается голос, как SOS из эфира.
Прислушайтесь: просит грядущее мира
до гибельного, рокового огня:
— Пожалуйста, не убивайте меня.

* * *

В глухом краю
посмертной доли,
в чужом раю
по доброй воле,
уже нигде
иль за морями
равно и те,
и те не с нами.

Вздохнем им вслед,
сутуля плечи:
«Иных уж нет,
а те — далече».
Потом с тоской,
продолжив, скажем:
«Хоть век другой,
разлука — та же».

* * *

Все прочное — упрочится,
все прочее — как дым.
Не жить тебе, как хочется,
как хочется другим.

Ведь каждый должен выстроить
свое житье-бытье
и, словно строчку, выстрадать
мгновение свое.

* * *

Вернемся, куда ни уедем,
иначе судьба — на слом.
Все связано с городом этим
давно и тугим узлом.

От крыш до асфальта продуты,
здесь улицы берегут
нелучшие наши минуты
и лучшие из минут.

* * *

Е. Рывиной

Меж мостом и мостом, меж дворцом и дворцом
дом на набережной. Как войдешь —
поражен будешь невероятным жильем,
где на быт быт почти не похож.

Разве можно тут жить? Гостя зримого сна,
я картиной живой пленена:
Петропавловка вставлена в раму окна,
Петропавловка застеклена.

Упразднила хозяйка портьеру и тюль —
предпочла наводнение, штиль,
снег метущий февраль, зной струящий июль,
затененный, сияющий шпиль.

И, подобно ему, озарен или скрыт,
то касаясь его налегке,
то взлетая, как будто не ангел парит,
а Фемида с весами в руке.

Все — на чаши. Все взвесит один на один,
потаенную выявит суть.
А вблизи — бастион, а за ним — равелин
и кратчайший до кронверка путь.

Неотступно стою. Неотрывно смотрю
на тот берег. Мгновение длю.
«Ни за что не уснула бы тут»,— говорю.
Отвечает: «Вот я и не сплю».

СТАРУХА

М. Бычкову

Так молод художник, что вроде бы сдуру
на юность не падок и долгой судьбе
отдал предпочтение, выбрав натуру —
старуху — желанной моделью себе.

Но, может, на то и художник,
чтоб в страхе
не жмуриться, не отводить головы
на щебет и перышки утренней птахи
от мудрой и дряхлой вечерней совы.

Утрачены силы, улыбки и слезы,
и с ветром пронзают ее существо
сыпучие, словно песчинки, вопросы:
зачем? почему? для кого? для чего?

А штрих карандашный
что след серебристый,
как снег, уж недалний, бумага бела.
И так притягателен сумрак безлистный,
что ждешь, будто светом разбавится мгла:

* * *

Когда непроглядно и худо
и кругом идет голова,
не надо ни плача, ни чуда,
а вспомнить бы эти слова:

не слишком грусти о покое —
не так уж тебе тяжело;
быть может, случившись, плохое
от худшего уберегло.

ПОСЛЕДНИЙ ДОЛГ

1

С каждым горем, испытанным нами,
запустением в близком дому
привыкаем к концу своему
до того, как столкнемся с ним сами.

Обтекают покой и шумиха,
эта жизнь, этот рай, этот ад.
И над нами прощальный обряд,
будто в срок, совершается тихо.

Замерев между светом и мраком,
временной не растратив запас,
с тайной тайн, приручающей нас,
до поры сочетаемся браком.

2

Вот стоишь ты рядом с тем,
что опять тоской пытается,
что не вяжется ни с чем,
из картины выпадает —
из дневных ее лучей,
из надежд судьбу подправить,
из просвета меж ночей,
из попытки след оставить.

Не помним своего начала
и своего конца не знаем.

Живем иллюзией бессмертья,
как будто мы не безнадежны.

А та, что вечно точит косу,
нет-нет — и говорит всю правду.

ПРОЩАНИЕ

И пусть мое бесчувственное тело
Зароет равнодушная рука.

Е. Рыбина

В одно из первых чисел сентября
сего, как встарь говаривалось, года
близ Ленинграда,
в городе, что вторит
своим названьем имени поэта,
на незнакомом кладбище Казанском
обряду предстоявших похорон
предшествовала пауза, в которой
вбирали свет бесшумные деревья,
десятка два бродило провожатых,
соседствуя с цветами, на скамье
стояла урна с прахом вновь прибывшей.
С ней уходил светловской школы юмор,
отсутствие тщеславных интересов,
дыхание невымученных строчек
и позднее: «Какое счастье жить!»
Остаток от того, что было ею
до рокового мига совпадения
черты последней с рельсами
(недаром
«Я не люблю, — твердила, — Комарово»)
и, далее, до ряда превращений
в ничто — в корм злоязычному огню,
в бредовую золу, в дымок со сдвигом,
небеспрепятственно заполучили:
в чистилище был санитарный день.
Заминка, повторившись и у места

захоронения, отговорилась
формальностью, упущенной из виду.
Но, как-никак, и тут была отсрочка.
Еще судьба чудила напоследок.
Еще цеплялась жизнь за горстку пепла
и ворожила, словно бы не видя,
как любовалась жутким натюрмортом
прилежная точильщица косы.
Вот почему поспешно отводили
глаза от той скамьи на что угодно
и в стороны смещались.

Отошла
и я куда пришлось. Остановилась
у малопримечательной ограды
с темнеющею незамысловатой
плитой внутри ее, и тотчас камень
поведал мне, над чьим стою покоем.
Не довелось мне, помнится, тогда
воздать хвалу влеченью без отчета,
зато прочлась, придя сама собою,
пленительная строчка из любимых:
«Среди миров в мерцании светил...»
Все кажется: сменило время скорость —
все больше противостоят друг другу
начало века и конец столетья,
но жизнь души с годами не стареет,
и ничего не делается слову,
и если даже не осталось близких
и не одно сменилось поколенье,
все ж иногда — счастливики поэты! —
к ним на поклон приходят их же строки.

Немногим позже кто-то собирал
обратно всех, и с боковых дорожек
по влажному песку, по увлажненной
былой листве сходились для прощанья.

И все свершилось, как она хотела,
предвидя этот день издалека,
но только урну с прахом, а не тело
зарыла равнодушная рука.

А память слуховая и поныне
уберегла живой, веселый голос,
летучее богатство интонаций,
излюбленные обороты речи,
и вот нет-нет почудится:

звучит

ее рассказ о гибели нелепой,
о пламени, уходе в темноту,
о странностях, его сопровождавших,
и заключает: «Кто бы мог подумать?
Представь себе — меня похоронили
от Анненского в нескольких шагах».

АВТОРСКОЕ ЧТЕНИЕ

В первый раз и в последний
на горе
встреча выпала: лишь за чертой
в час ее отпеванья в соборе
помню сомкнутый профиль литой.
Отстраненно-бесстрастное чтение
донесла звукозапись поздней.
В чистом виде — самоотречение:
чем ей горше, тем голос ровней.

И читала с улыбкой другая,
отрываясь от бед на лету,
мысль о смерти в сторонку сдвигая,
избегая смотреть в черноту.
Спутник слова ее, неизменно
поздний свет проступал на лице.
Был, как море, ей мрак по колено
до трагической точки в конце.

В чтенье той, чей портретно-печальный
лик возвышен над выгибом плеч,
чья гортань — инструмент музыкальный,
насыщающий музыкой речь,
ворожат вроде сути глубинной
даль времен и воздушная даль,
что друг с другом звенят, как старинный
задымленно-прозрачный хрусталь.

И уже на слуху, наготове
чтение этой — горячность, размах.
Так читают южане по крови,
что выросли при метельных снегах
над гранитной расщелиной Мойки
под нависшим хребтом облаков —
и поистине морозостойки,
как растения здешних садов.

Длится чередование властных
интонаций в немолчной тиши.
Но сильней искушений прекрасных
ты, единственное для души,
позволяющее, словно голо
все кругом, не считая волшбы,
выводить своим голосом соло
лишь судьбе подотчетной судьбы.

* * *

Главнейшее из расстояний
еще измерю, холодея.
А ты, судьба моих посланий,
не стань судьбы моей длиннее.

Что, как не писем торопливость,
легко возводит в абсолюты
азарт случайный, и болтливость,
и настроение минуты?

Непредсказуемо капризно
строк население живое.
Как черновик стиха, эскизно
письмо горячее, сырое.

Сквозит в нем тщетности улика:
делись, перечисляй, приветствуй,—
задуманная многолико,
неуместима жизнь в портрет свой —

сиюминутный, сокровенный,
чужой боящийся забавы,
ничуть не меньше суверенный,
чем суверенные державы.

* * *

В адрес прошлого шуршит
день, сквозь листья улета.
Кто же, кто же так спешит
эту почту отправляя?

Дата. Место. Новый год.
Все быстрее мелькает штампель.
Как сиртаки, жизнь идет
в ускоряющемся темпе.

Заводная мчит стезя.
Устоять — нужна сноровка.
И, развязкою грозя,
все богаче оркестровка.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПУШКИНСКИХ ГОРАХ

В лютый холод шли наружу
поклониться в свой черед.
Окликала стужа стужу,
годовщина — давний год.
Дул, приученный к пропажам,
стойкий ветер-поводырь.
И стоял посмертным стражем
Святогорский монастырь
в хоре «Славься», в перегуде
по-над хвоей ледяной.

А в гостиничном уюте
в двух-трех метрах за стеной,
вроде музыки за сценой,
что как будто ни при чем,
слух пленяя, вихрь бесценный
извлекался скрипачом.

Волей случая подобран,—
случай в дружбе уличу,—
ключ от номера подобен
был скрипичному ключу,
чтоб гостила, не соскучась,
где скрипач, как рок, незрим,
скрипка скрыта, словно участь,
и смычок неуязвим.

Вился рядом дух потери,
и казалось: там судьбой
Амадеевой к Сальери
приведен скрипач слепой.
Сколь же музыка опасна,
сколь прекрасна!

Но всегда
и на все глядит бесстрастно
закононая звезда.

СТАРЫЙ ЗАМОК

1

Взгляд в окно поспешный:
— Что мелькает там?
Конный или пеший
в гости к нам?

— В темноте кромешной
не гляди в окно.
Конный или пеший —
все равно.

2

Узкая, витая —
вот где злу стеречь,—
лестница такая
не для встреч.

Сток в чуткой стыни
древний дух беды.
Нет ли рядом Синей
Бороды?

3

Сквозь просвет бойницы,
словно в дне былом,
брезжит росчерк птицы
над холмом.

И влекут, как будто
вдаль ведешь пунктир,
поле, берег, бухта,
море, мир.

4

— Жить бы выше пашни,
в замке, в угловой
островерхой башне...
— Вздор какой.

Жили бы в округе,
в замковой петле,
в нищенской лачуге,
в кабале.

О ГЛУПОСТИ

Кому не случается сказать глупость?
Беда, когда ее высказывают обдуманно.

Монтень

Безумицей пальцы до хруста
коверкая, не обессудь:
нам глупость, что сказана устно,
как облако, не зачеркнуть.

Кто глупое слово запомнит,
пусть сам будет непогрешим,
а кто проронил его, понят —
утешься — Монтенем самим.

Случайности, не провиденье,
ведут нас. Ты с ними в родстве,
открыв — таково совпадение —
трехтомник на нужной главе.

О, текст, извлекающий жало!
Обдуманно ль произношу
я глупость? Ничуть не бывало:
подумав, язык прикушу.

Увы, за живое задетый,
немея беднягой слугой,
в дальнейшем он глупости этой
избегнет, подвержен другой.

ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Успехи изведав
на стыке наук,
не читит он поэтов,—
приятелей друг:
«Окинем события
эпохи любой.
Ученым — открытья,
поэтам — застой».

Не споря упрямо,
на книги гляжу.
Омара Хайяма
в пример привожу:
мудрец, математик,
поэт, звездочет,
он жизнь свою тратит
на все, что влечет.

И бесполезно
разверсты в тиши
то звездная бездна,
то бездна души.
Но чувствам и звукам
в живых быть и впредь,
тогда как наукам
нельзя не стареть.

О век исчерпавший
певец бытия!
Отстанет от нашей
наука твоя.
Не ею — стихами
пожалуешь к нам.
Итак, о Хайяме.
О чем пел Хайям?

О мраке и свете
сквозь времени прыть,
о жизни до смерти,
о радости быть,
о доле смертельной
теперь и давно,
о чаше скудельной,
в которой вино.

* * *

Страны рады,
Города веселы...

«Слово о полку Игореве»

Досказывая «Слово о полку»,
безвестный автор поместил в строку
отраду, невозможную печали.
Придется кстати, вспомним без труда,
как страны были рады, города
весельем князя Игоря встречали.

Совсем не так у летописца: князь,
на родину из плена воротясь,
волнения застал. Прости, веселье.
Передохнуть — и то не мог ни дня:
пришлось в Чернигов торопить коня
и помощи просить там на Посемье.

Два разные свидетельства ни в чем
не сходятся, толкуя об одном.
Но пусть хранит история подстрочник,
восьми векам нужней был перевод.
Невысказан, упрек наш отпадет,
хоть правду говорит первоисточник.

Все знал он, автор «Слова о полку»,
и все ж почел за благо — ни гугу,
чтобы князья не бились в одиночку.
А что до правды, — как ни хороша,
явясь не к месту, режет без ножа,
и потому не предварила точку.

ПОДРАЖАНИЕ ГЕЙНЕ

Родные, обо мне скорбя,
лишь красноречье тратят,
хотя, признаться, у тебя
не золотой характер.

Им невдомек, что и такой,
как есть, ты мне по нраву.
Пусть подкачал характер твой,—
все прочее — на славу!

ПОДАРОК

Л. М. Тахтаровой

Ах, какие остроносые тапки!
Как у чьей-нибудь восточной прабабки.

Эта обувь да не здесь бы, да раньше
веселила б ножку главной султанши.

Вдоль по клетке золотой, вдоль по плену
в ней скользить бы, замышляя измену:

«Уж как встану я ранешенько-рано,
уж как буду я любить не султана».

Но далеко от «восточных неги»
веют холодом равнинные снега.

Выдыхается роскошная тема.
У султана ни дворца, ни гарема.

У султанши непрестижные тряпки —
лишь вот эти остроносые тапки.

А султан ей — и султан, и любимый,
из красавиц ни с одной не делимый.

* * *

В меру вещи любимы
с юной, давней поры.
Впрямь не слишком ценимы
покупные дары.
Только носа не вешай,—
не вменять же в вину,
что купчихой новейшей
строгих муз не спугну.

Так наполнены годы
близ Невы и над ней,
так ложится на воды
ожерелье огней,
так от певчей удачи
длится праздник в душе,
что бедней иль богаче
я не стану уже.



Такой благодатный,
такой ослепительный день,
что сколько ни помнить
бесспорных и мертвенных истин,
но с каждым июнем
шиповник, жасмин и сирень
свежей и душистей,
и вправду свежей и душистей.

Еще совершенней
теперешних листьев края,
еще искусенней
склонявшийся над лепестками.
Все по восходящей,
как нежность твоя и моя,
что больше с годами,
лишь больше и больше с годами.

Чем дальше, тем лучше
дурман чудотворный вина,
тем невероятней
все то, что любовью зовется,
тем неистощимей
изменчивая новизна
и так нарастает,
как будто внезапно прервется.

ПОРТРЕТ

Посиди, я тебя нарисую.
Безупречные фото — впустую.
Верю карандашу, а не им,
вмиг лишавшим твой облик под глянцем
черт, знакомых еще по фламандцам
и Гольбейна портретам мужским.

Варианты тебя на полотнах,
на плафонах и фресках бессчетных
слали издали зримую весть.
Но вовек я тебя, если б встречен
не был ты в незапамятный вечер,
не придумала б лучше, чем есть.

Посиди, подари мне терпенье.
Не мое тут бы надо уменье —
божью искру, хоть не говорят
так теперь, — чтобы грифель,
не ломок,
уловил этих карих потемок
на других не растраченный взгляд.

Уж не шрифт, не пейзаж на примете.
И грозит дилетантством в портрете
скудный навик, забытый рукой.
Но до вечера в окна и двери
посиди, как на «Тайной вечере»
кто-то давний и схожий с тобой.

ВОСЬМИСТИШИЯ

*Все то же до единой строчки
я написать могла бы снова.
Не ополчайся на листочки,
где говорят следы бывшего.*

*Как знать,—
 быть может, справедливо,
что чаще в поле зренья музы
не те, что сложены счастливо,
а несложившиеся узы.*

1

Что-то со мной происходит не то.
Дальнее имя ворвалось и дышит.
Слух против воли далекое слышит.
Давняя мука, теперь ты за что?

Видно, спешил с утешением, кто
наобещал: «Что пройдет, будет мило».
Память, за что ты? Ведь я не любила.
Он-то любил. Так любил! Вот за что.

2

Балованный, уверенный,
удачи на краю
не знал, кому примеривал
фамилию свою.

У ног — пыль подорожника,
у помыслов — тетрадь.
Портрет жены художника
нельзя с меня писать.

3

Гляну колдуньей. Не взгляд —
взор
из-под сухих век.
Вот по таким плакал костер,
только — другой век.

Жить мне, ведьмою не слывя,
беды гонять прочь.
Но потому у него сыновья,
что у меня дочь!

4

Не пепел те письма, не дым,
хоть к этому приговорила.
(Горите огнем голубым!
Так мало хорошего было.)

7

Свой у памяти круговорот:
 то щадит, то без жалости ранит.
 Но всегда — чем на дольше замрет,
 тем сильней и внезапней воспрянет.

Не отступится, — не прекословь.
 Вся — безумство, с ума она сводит.
 Довелось отвечать на любовь —
 тем, что память о ней не проходит.

8

В далекой своей стороне
 живет он, покоем храним.
 Не упоминай обо мне,
 когда говорить будешь с ним.

Не тень отодвинутых лет —
 пусть лучше отыщет его
 не ранящий душу привет,
 звук имени не моего.

9

По влажным улицам хожу,
 скрепляемым Невою.
 Как руку подставлять ножу,
 так жить с моей виною.

До неозначенной поры,
навек, до расставанья
какие острые дары —
следы, воспоминанья.

10

Не порастает быть быльем.
Свой скорый суд сужу все строже.
Привычно думы об одном
не отпускают, с болью схожи.

Так долго памятью живу,
такие возвращиваю речи,
что, если встречу наяву,
не удивлюсь неожиданной встрече.

11

Прядется нитка тонкая
неутомимых дней:
ведь жизнь должна быть долгая,
чтоб сделать нас мудрей.

Все глубже мера знания.
Все памятной зола.
Все больше понимания,
сочувствия, тепла.

И поседею, и состарюсь,
но долго, впредь
запечатленная, останусь
на свет глядеть.

Темноволоса, тонкошея,
смуглым-смугла,—
хотя смыкается аллея
и тянет мгла.

* * *

Порознь полжизни прожито,
и не переиначится.
Прошлое — в прошлом сложено,
словно забыто начисто.

Не сожаленья поздние
с жаждой обратно кинуться,—
поздние чувства познаны,
сведшие новым клином все.

Не начинать уж сизнова,
не превозмочь течение,—
глянуть бы раз, хоть издали,
как испросить прощение.

Всей разлукой согрет
на ветрах,

на ветрах,
много значит привет
в тех устах,

в тех устах.

Это свет глубины,
гул струны,

гул струны

и прощенье вины —
не вины,

не вины.

* * *

Незабываемому вслед
из этих дней глядеть светло мне.
Все помнит он, и я все помню
на расстоянье многих лет.

Пусть волосами занялось
сверканье инея и молний,—
все помню я, и он все помнит
сквозь много лет вдали и врозь.

За годом год, за часом час,
пока не опустеет чаша,
небезответна память наша:
кого мы помним, помнят нас.



Прогноз погоды, разговора нить —
и вот упоминание сверкнуло
о городе, где я могла бы жить,
когда бы жизнь свою не повернула.

Транзистор, непреклонен и суров,
как будто мне веля не забываться,
напоминает, сколько там часов,
когда в Москве и на Неве пятнадцать.

И, побывав там, радует звонком,
о прошлом не насышана нимало,
приятельница, чей рассказ о нем,
о нем, кого давным-давно я знала.

Разъединила вереница лет
два мига — заплдневный и рассветный,
но кто-то вдруг привозит мне привет,
и я передаю привет ответный.

А память червоточиной-виной
мне душу ест, мой разум поедает.
Минувшее, отторгнутое мной,
пожизненно меня сопровождает.

Прочны вы, узы, и для тех, кто врозь.

Пространство, срок,—

но чувство изначально.

И все прекрасней то, что не сбылось,

а то, что было, было не случайно.

* * *

Из тесной глубины
являясь по ночам,
не спрашивают сны
о том, что видеть нам.
И в потаенный час,
разрыв узлом скрепя,
сон пристальнее нас,
морочащих себя.

Сижу к окну спиной,
возвращена в места,
где вновь передо мной
художник у холста.
И внове мастерской
по истечение лет
разлитый в ней покой,
какого в жизни нет.

На время сна не грызть
меня моей вине.
Откладывая кисть,
оборотясь ко мне,
он говорит: «Пойдем»,
хоть некуда идти —
не ждут ни стол, ни дом.
И все равно: «Пойдем»,—
вслух, рядом, въявь почти.

* * *

Льются полосы света и тьмы.
Есть ли чересполосица краше?
На чуть-чуть в ней меняемся мы —
и меняется прошлое наше.

Кроясь в памяти, день или год
не все те же и жаждут огласки.
И былая любовь предстает
в новом свете и в новой окраске.

Ярче прежней себя, и права
перед всем в настоящем, и снова —
быть не может! — желанна, жива,
и нова, и вернуться готова.

* * *

О молодость моя! Ни беззаботна
не стану, ни юна, как ни зови.
Ведет меня судьба бесповоротно,
внезапно приведя к словам любви.

Обращены, не ждущие ответа,
ко мне, и ничего не надо им —
лишь одарить, как прибавленьем света,
теплом и бескорыстием своим.

Под медленное облетанье веток
они, вдруг рождены в осенний час,
нежней и безнадежней напоследок,
чем слышанные в самый первый раз.

Благодарю за позднее признание
и знаю, что, привержено к добру,
мне душу станет греть воспоминанье
поодаль — на морозе, на ветру.

* * *

Вбирать дыхание морское
дареных десять дней подряд
и помнить что-нибудь такое,
что, не любя, не говорят,
скользить с безлюдного пригорка
на ледяные берега,
где было сладко, было горько,
где нынче — первые снега.

Не стыть на воздухе морозном,
причислить иней к чудесам,
внимать хранящим тени соснам,
сквозящей хвои парусам,
и не смотреть на жизнь сурово,—
она и так в конце концов
чудесней линии и слова,
гравюр прекрасней и стихов.

САПФО

Отрезались музы и лира,
могущество и волшебство.
Но чудится отсвет сапфира,
когда произносят: Сапфо.

Как будто у моря, у кромки,
несомы песком-решетом
не речи обрывки — обломки
галеры, расколотой в шторм.

Но щепки, но крохи по книгам
в сдуваемой легкой пыли
подобны вакханкам и никам,
что к нам целиком не дошли.

Уже никому не добавить
ни слово, ни складку, ни прядь,
а только пытаться представить —
и, тщетность поняв, отступить.

Что домыслы наши, уловки
живучим осколкам с листа?
Невольные их недомолвки
досказанности не чета.

Такие пробелы, что имя
древней и ценимей стократ.
Такие обломки, что ими
века и века дорожат.

ЗЕРКАЛО

Невластны мы в самих себе...

Е. Баратынский

Мой выбор уязвим:
напомнить им рискую
одноименный фильм
и прозу городскую,
где зеркало — всегда
любимый из предметов,—
меняясь, как вода
вдоль невских парапетов.

И мне она текла
и говорила: «Глянь же».
Вблизи нее вела
я речи много раньше
о зеркале. С тех пор
пласт жизни лег в пространство.
Прости-прощай, повтор,
и здравствуй, постоянство!

Когда бы не оно,
пред сонмом вариаций
собой стать мудрено,
собою оставаться
трудней стократ в судьбе,
не глядящей по коже.
Но мы верны себе,
а зеркала — не схожи.

Дозволь ему чудить.
Несуетно-спокойный,
достойно вьет он нить:
любой сюжет — достойный,
и в том числе краса,
что, вспыхнув ненароком,
попала на глаза,
не дав промчатся боком.

Все в мире зеркала
пустыми не бывают.
Тускнеет глубь стекла,
но лики наплывают
за двойником двойник
цепочкой неразлучной —
мальчишка-ученик,
и мастер, и подручный.

Опередив кино,
отснятое на совесть,
мгновенно полотно
читается, как повесть
с главой о мастерской,
где золотится вечер,
в который групповой
портрет увековечен.

Тьма в зеркале других
портретов в интерьере
торговцев, щеголих, —
зеркальной лавки двери
порхали, — ах, чего
в нем только ни двоилось
до главной, для кого
на свет оно явилось.

Жаль слов, карандаша
и кисти — все напрасно.
Хозяйка хороша,
пленительна, прекрасна.
Кладет письмо в ларец.
Глядится, став бледнее.
И этот миг — венец
в зеркальной галерее.

Легко сквозь пропасть дней —
ее и наших — муку
в лицо узнав, я к ней
строку тяну, как руку,
как будто я — знатна,
изнежена благами,
как будто не она
утешится шелками.

Ведь это мы — сильней,
в самих себе властнее;
мы старимся поздней,
разлюбят нас позднее —
в начале декабря,
а если бабьим летом —
что ж, все равно не зря
нас жизнь одарит светом.

При всем при том вина,
родня моей, хранима
в ее ларце. Она
и любит, и любима.
И, в зеркало войдя,
похоже на камею,
припало к ней дитя,
продолжив галерею.

Но то и дело миг
возвратный душу студит:
страж совести, двойник
сторонним взглядом судит
ее наедине,
виновную невольно.
И то, что больно мне,
вдвойне, втройне ей больно.

Хотя не взвесить соль
в слезах — где больше соли? —
и не измерить боль,
не зная меру боли,
хотя себя кляню,
с себя свой долг взыскую,
но я вину в волну,
в струну перетолкую.

О музыка! Держи
безумных на примете,
чтоб горести души
в другом предстали свете.
Дай, словно черт не брат,
до утра на пороге
преобразить разлад
в гармонию в итоге.

А ей как быть? Зовет
служанку. Та подышит
на зеркало, потрет,
кругля свой рот, услышит:
«Ступай» — и вмиг бочком
скользнет за дверь.

О, боже!
пылинки нет на нем,
но в глубине — все то же.

Ведет ли участь вдаль,
отступится ли рано,
живуч цветник: эмаль
не явит нам изъяна;
литые стебли впредь
пребудут поневоле
вне перемен. Стареть
другим, что стынут в поле.

Придет черед — пленюсь
бутонами, соцветьем,
да, жаль, не поделюсь
ни долей, ни столетьем,
не прикиплю к судьбе
и не возьму в подруги
в уклад, где мы себе
и господу, и слуги.

Ярчайший, грозный век!
Что держит он в остатке?
Пронзают звездный верх
две римские десятки
с невидимой чертой,
меж ними проведенной
(одна повтор другой,
зеркально отраженной).

Их двуединство чту,
устойчивость земную.
Да подведет черту
последнюю, скупую
под ними пересверк
восторгов, междометий,
означив новый век
и стык тысячелетий.

Из всех — будь звук живой
в вопросе этом весок —
я выбрала бы свой
во времени отрезок,
язык не наугад
и берег не вслепую —
дворцовый Ленинград,
столицу отставную.

Прости мне, град иной,
но очевидно вот что:
смесь блеска с тишиной —
живительная почва,
где зреет прочность уз,
где не рифмуют лихо,
где в арках поступь муз —
дозор, а не шумиха.

Какая уйма сил
должна быть в единенье,
чтоб всяк осуществил
свое предназначенье
там, где, тогда, когда
из тьмы на свет родится
и, как в канал звезда,
в стекло, в себя вглядится.

С тех пор как, обвиня,
взглянул двойник устало
из глуби, что меня
давненько не видала,
от всех зеркал укор
стал исходить и память
читала приговор —
ни звука не поправить.

Жжет давняя зола.
Коснусь — не до усмешки.
И все-то зеркала
теперь умеют в спешке,
пока мелькает прядь,
укладываясь ровно,
едва всмотрюсь, вписать
в черты и взгляд: виновна.

Сопутствуй же, вина,
сужденная до края:
мне будущность одна —
жить, легкости не зная;
сопровождай, как страж,
так и не стань проклятьем
и от всего, что блажь,
служи противоядьем.

Не вещью дорожу.
Не прихоть мною движет.
Не я строку сложу —
вина слова нанижет
сегодня, завтра, впредь
открыто, потаенно.
И двойнику смотреть
в лицо мне отчужденно.

А зеркалу, чей кров —
музей, хранить в неволе
меж замерших цветов
не боль, но сгусток боли,
старинное родство,
безвыходное чувство.
...Я думала: в него
взглянуть — почти кощунство.

Но так влекла теней
немыслимая сила,
что, сдавшись, я своей
природе уступила,
оставив глубине,
еще не наступившей,
догадку обо мне,
мгновенье в нем гостившей.

* * *

Что ни вздумает лечь мне на плечи,
все же я из везучих, мне легче,
чем другой, не вкушающей всласть
первозданность чистейшей бумаги,
дерзновение стойкой отваги
и даримую музами власть.

Каково не избегнуть утраты,
не избыть ни вины, ни расплаты
и не осознавать, что зато
время-ветер в лицо тебе дышит,
и твое за тебя не расслышит,
будь хоть слух абсолютный, никто.

* * *

Держись за жизнь, душа,
в час ночи непроглядный,
как тень и тишина,
как света островок.
Ты выбрала сама
удел свой беспощадный.
Какой огромный труд,
какой короткий срок!

За благосклонность муз
вся участь — вот расплата
до нас, и нам, и тем,
кто осчастливлен впредь.
Сгорает ли свеча,
перегорит ли лампа —
тебе еще гореть,
тебе еще гореть.

Зато, подобно снам,
спешит, роясь, подмога —
предшественники, кто
в деяньях преуспел:
«Выносливый тростник,
превысь хотя б немного
возможных сил предел,
возможных сил предел».

Превысим. Наш черед.
Не сгинем осторожно.
Кругами по утрам
глаза обведены.
О, как желанна жизнь,
когда в ней все возможно
под реквием ночной
часов и глубины!

ГРАВИЮРА НА ДЕРЕВЕ

Самшит затонирован. Спилу ствола
не снятся ни музы, ни лира.
Сплошная неисповедимая мгла,
как до сотворения мира.

Творю, позабыв о еде и питье,
на въезд в неизвестное визу.
И вот уже контуром в небытие
дано углубиться эскизу.

В потемки, смычки мои,
до свету в путь —
нащупывать медленно тему:
ведь скоро сказать,
да не скоро вдохнуть
живое движение в схему.

Смелее, смычки, отвоевывать пядь
за пядью для неумолчанья:
ведь просто узреть,
да не просто отнять
мерцанье, свеченье, звучанье.

Возможно ли? Даже дефекты доски
сплошь на руку и потекают:
неровность шлифовки, пробелы, сучки,
задоринки — вмиг подыграют.

Так запечатлеется вьюги свирель,
мелодии вихрями метя.

Так ветер-поземка и ветер-метель
останутся зримы на свете.

Дощечка; где только вначале темно,
ценней, чем увесистый слиток.
Какое в ней множество заключено
каких сотворений попыток!

Лишь был бы над нею гравер не бескрыл,
превысила робость отвага.

...А старец мифический

мир сотворил

всего-то однажды, бедняга.

КАНУН ВЕСНЫ

...один, но прекрасный цветок.

А. Морца

Еще снаружи холод — властелин,
еще студить и леденить глаголам,
и вдруг — цветок,
сам по себе,
един-
единственный,
и ваза с тесным горлом
ему как раз,
и не затруднено
дыхание, и отогрето слово,
и он — как лик, что взят на полотно,
хотя с другими обошлись сурово,
не разглядев,
и язычок огня
впрямь одинок, проклюнувшись, в бутоне,
лишь с двух сторон, как будто заслоня
от ветра,
две зеленые ладони
вознесены, храня его,—
им в кров
не верится,
их жест двойной, упругий
таков, что из творений мастеров

шагаловский старик зеленорукий
на памяти,

и беспределен круг
смыкающихся въявь сопоставлений,
и что-то есть в растениях от рук,
и что-то перепало от растений
рукам,

и разгорается бутон,
безудержно, неистошимо новый,
и в лучший день как пятипалый он —
пятиязыкий, пятилепестковый.

И вот портьер отогнутая сень,
подмости подоконника, и фоном —
окно,

и он отбрасывает тень,
точь-в-точь как бард,

что перед микрофоном
бесстрашно расточителен,

тайком
на черный день не оставляя жара,
и стебель так пересечен листком,
как будто грудь пересекла гитара.

А ты и ныне, Муза наших дней,
дуй в дудочку

и пуще, чем отару
чабан, о ней пекущийся,

лелей
вершинные мгновения.

Гитару
добром помянет лира,—

вспомяни
невольное пророчество.

И все же
цветению отпущенные дни
исчислены тремя,
а там похожи
на молодость —
потом, поздней,
когда
глядят ей вслед, перевалив за гору,
и словно бы на ветер, в никуда,
вслух сетуют.

А я об эту пору
для жизнь цветка, хоть близится предел —
все меньше чудотворна свежесть влаги.

Он, лепестки разняв, не облетел,
обуглен так, как если б прикипел
китайской тушью к рисовой бумаге.

* * *

Не обитать, как в раю,
вечной души не неволить,
заживо — слабость свою
не опекать и не холить.

Ибо вовек не мертво:
что в свою участь ни втисни,
это лишь доля того,
что за пределами жизни.

БАШЕННЫЕ ЧАСЫ

Турист, новейший пилигрим,
находит путь наощупь
в живую сказку братьев Гримм —
на ратушную площадь.

Поверх теснящейся красы,
увиденной впервые,
на ней главенствуют часы,
как небо голубые.

Тон в тон. Подобие сквозных.
На уровне полета
воздушна знаков цифровых
и стрелок позолота.

Как будто, желты, с двух ветвей
не сыплются листочки
и, замерев, один из дней
не хочет знать о точке.

* * *

В нахмурившейся, пасмурной Литве
над Неманом ты вспомнил о Неве,
ее, как духа, вызвав из простора.
Так вдруг Адмиралтейская игла
сверкнула там, на миг превозмогла
поверх деревьев острие костела.

Когда пропала, грани растворив,
когда поросший зеленью обрыв
нас поднял вновь над неманской петлею,
тогда пришли пристрастные слова,
в которых несравненная Нева
жила, дохнув прохладой ветровою.

Нам от нее на все наши лета
распахнутость досталась, прямота
поступков, речи. В ослепленье зрячи,
простившись с ней на время,
над какой
великой ни очутимся рекой,
Неву вблизи увидим, не иначе.

ВИЛЬЯМУ БЛЕЙКУ

Творил бог правду в полумгле
при свете лишь улыбки.
Судьба рожденных на земле —
сносить его ошибки.
Но тот, кому претит обман,
сочтет за дело чести
проникнуть в лондонский туман
до нас лет так за двести,
и двери дома отворит
невидимым усиьем,
и, наконец, проговорит:
«Не падай духом, Вильям.
Не в силах я свести на нет
слепой судьбы стремленье.
Но ты художник и поэт,
и твой удел — терпенье.
Всечасно время на ходу.
Предвидя мир далекий,
терпи безвестность и нужду
и путь свой одинокий.
Ты не из тех, чье имя — знать.
И пусть не станет раной
та весть, что крепко будешь спать
в могиле безымянной.

Но от потусторонних врат
начнется путь неблизкий.
Ты встанешь с классиками в ряд
в поэзии английской.
И хоть карман при жизни пуст,
не все-то прок в богатстве,
раз твой поставлен будет бюст
в Вестминстерском аббатстве
и мир отметит юбилей
обилием оваций.

Прими же, Вильям, сто гиней —
наверно, пригодятся.
Они, оставленные тут,
убудут неприметно
из тех, которыми твой труд
оплатится посмертно».

СОБАКА

Керри-блю-терьер

Вот честь высокая и милость:
чтоб коротать свой век,
одна особа к нам вселилась —
Улана Эзишт-кек.

У нас простецкие замашки,
не тонкое чутье.
Мы беспородны, как дворняжки,
при светлости ее.

Нам не носить подобной шубы
и не глядеть умней.
И не годятся наши зубы
для сахарных костей.

Добрейший нрав, а не свирепость,
воспитан в ней, и все ж
наш домик карточный на крепость
теперь слегка похож.

Притом она не склонна к спеси,
хоть круг ее друзей —
великий Патрик, леди Джесси,
сэр Глен и лорд Гарвей.

Подумать можно, Темза рядом.
Но нет — вблизи Нева.
Прохожие теплеют взглядом,
с ней встретившись едва.



Сижу над листом перед ночью в
окине
у лампы, живущей светя.
А сзади собака вздохнула во сне —
и снова сопит, как дитя.

Бывает, в отъезде хозяин ее,
и без повелителя я.
А все-таки с нею жилье как жилье
и даже семья как семья.

Беззлаябная —
зла не простил бы ей стих,—
она замечательна тем,
что впрямь безобидней двуногих иных,
хоть это известно не всем.

Уйду — в одиночестве, морду склоня,
начнет караулить шаги.
Вернусь — ни за что не облает меня,
с какой бы ни встала ноги.

Меж истинной боли и мнимых невзгод,
земной сокращающих срок,
пример дружелюбия всем подает,
не зная, всегда ли он впрок.

* * *

Если бушует гнев в твоём сердце,
оберегай язык свой от лая.

Сапфо

Каждый — справедливости должник
и от справедливости зависим.
Сбережем от лая свой язык,
свой поступок мезтью не унизим.

По делам, а также по делом
воздадим — и логику уважим:
с добрыми расплатимся добром,
злых же безучастностью накажем.

* * *

Ни одного городка в табакерки
не воротить, не вернуть под крыло
голову: неумолимы проверки
лет, увеличивающих число.

Четче и жестче, не то что когда-то,
видеть механику темных глубин.
Тайное явно, и чудо разъято
на составные колес и пружин.

Звездные тайны — и то недалеко.
Что ж до завесы поступков и слов,
чуть приглядеться — сквозит подоплека,
словно сквозь цифры устройство часов.

* * *

На твое вероломство не зарясь,
я тебе не завидую, зависть.
Ничего у тебя не беру
ни душе, ни уму, ни перу.

Лицемерь, попадаясь навстречу.
На улыбку улыбкой отвечу.
Жаль тебя: и теперь, как вчера,
ты рождаешься не от добра.

Кто тебя проявляет, отчасти
сознается в отсутствии счастья,
а отчасти, не зная о том,
в черством сердце и нраве дурном.

Дай и я свою тайну открою:
не шипя у тебя за спиною,
под уколы твоей чепухи
переплавится горечь в стихи.

* * *

То удача прильнет, то грозит
злая весть иль недоброе слово.
Но и в светлом, и в темном сквозит
бытия золотая основа.

Как посмотришь сквозь пеструю нить,
полегчают разлад и усталость.
Этой жизни могло и не быть,—
хорошо, что она состоялась.

* * *

Как ни желанно все, что благодать,
сомнительно желание благое
покоем, будто прозе, угождать
поэзии, немислимой в покое.

Не приучить поэму ни к чему.
Стихи непринужденней дуновенья.
Вбирая свет, пронизывая тьму,
само себя не знает вдохновенье.

Находка вдруг блеснет из-за угла.
Строка с дождем поладят расчудесно.
Не нам свои устраивать дела —
не указать им повод, срок и место.

* * *

Нрав ли, век ли виноват —
относителен отсчет:
то, что было день назад,
отдалилось, как на год.

Суток ломится тайник.
Вьет две нити жизнь одна.
Сверхнасыщен всякий миг
бодрствования и сна.

Как среду кристаллов, чту,
не ища других щедрот,
жесткость, срочность, тесноту,
неприемлемость пустот.

Грянет новость — до утра
выдохнется, как вино.
Это все, скажу, — вчера,
а вчера — давным-давно.

РУКОПИСНЫЙ ШРИФТ

Строк не отстукивать.
Спешке — протест.
Долго, по буковке,
пишется текст.

Скажешь — страдалица?
В каждом значке
что-то скрывается,
как в тайнике.

«Т» — и под тучами
ливни видны.
«М» — взбаламучены
враз две волны.

В «о» как в подзорную
глядя трубу,
«Смилуйся!» — черную
просишь судьбу.

«А-а!» — значит, схвачена
зыбью душа.
Смертно, трехмачтово
кренится «ш».

Думал — идиллия?
Темень и страх.
Тонет флотилия
в средних веках.

* * *

Все набело у нас, а надо бы вчерне
над участью корпеть, оттачивать решенье.
Но если что не так, другая жизнь при мне.
Поправкою к судьбе живи, воображенье.

На свой резон и вкус года перекрой.
Несбывшееся пусть сбывается свободно.
Сверкают — чем не явь! — сокровища твои,
уносят хоть куда и дарят что угодно.

* * *

Наши с тобой заповедные дали,
годы похожи на местность в холмах.
Что мы умели бы, кем бы мы стали,
если б носила нас жизнь на руках,
если б хранила от ноши громоздкой,
сыпля благами без мер, без границ,
и не была бы достаточно жесткой
даже помимо трагичных страниц?

* * *

Сам себе подсудимый и суд —
вот поэт. Приглядитесь к поэтам.
Незапятнанной совесть несут
в полустершемся звании этом.

Все богатство — тот будущий стих,
что когда-нибудь должен родиться.
Ни скупцов, ни воров среди них,
ни убийц — только самоубийцы.

УТРАЧЕННЫЕ СТИХИ

Звенеть другим словам, а этим в горле сухо,—
глухие, как помин, они о тех стихах,
что приходили в мир, но не достигнут слуха,
не уцелев на гибельных ветрах.

И всюду на свету, и в вездесущем мраке
примешан в пыль их прах, посланец глубины.
И отзвука хотят распавшиеся знаки,
и гулы в тишине растворены.

И преображены исписанные густо
пласты сознания в шум слоистый, ветровой.
И стихотворный текст, существовавший устно,
то здесь, то где-то вдруг шуршит травой.

И неизменно сквозь стопу бумаги писчей,
хаос черновика и свежую строку
зияет тень стихов, что поверялись нищей
обертке иль картонному клочку.

Смывала их вода, сжирал огонь глумливо,
и поздно, дуя в медь, во славу их трубить.
И никогда в стенах ни одного архива
их не нумеровать и не хранить.

В поэзию вошли пробелы и пунктиры,
и пропуски имен, и попранная честь.
Безвинные стихи! Вы пасынки для лиры,
а мы бедней на то, что не прочесть.

И лишь вдоль чахлых мест, где вы, как по
ошибке,
слагались,
вдоль дорог, где сбоку шел конвой,
не реквием по вас, но ропот хвои жидкий
и долгий, вроде сто́на, волчий вой.

ВОЗВРАЩЕНИЕ С ЮГА

Феодосийский смещался перрон,
поезд во тьму погружая.
Вез пассажиров плацкартный вагон
из благодатного края.

Как не бывало желанных недель,—
от поспешавшего крова
отодвигался назад Коктебель
кущами рая земного.

В окнах пейзаж предосенний возник,
первыми листьями сеял.
Пил, ото всех отрешась, проводник
с самого юга по север.

И, не мечтая разжиться чайком,
люди, заботясь о плотском,
шумно делились холодным питьем,
фруктами, снедью, Высоцким.

Напоминая отвагой певца
в прошлых годов электричке,
голос, хрипя, воскресал без конца
с лязгом, с гудком в перекличке.

Магнитофон выбивался из сил.
Мало кто слушал в вагоне.
Фон звуковой, он посмертно просил,
чтобы помедлили кони.

Подтверждено осознание судьбы,
двигавшей быстро к ночеги.
Что ж им поныне не встать на дыбы,
не воспротивиться бегу?

И за стеклом, закусив удила,
с ветром по лиственным гривам
то перелесок летел, то влекла
насыпь вагон над обрывом.

Нечем их было унять никому
ни на одном перегоне.
Господи, кто их взнуздал?

Почему
не унимаемы кони?

АГАТ

В этом агате осталось тепло Коктебеля,
мареву дымчатой бухты,
 волна, окаймленная пеной,
воздух, настолько родной, словно от колыбели
только его и вбирала
 полжизни, как вид несравненной
береговой полосы, где холмы и распадки,
гор соразмерные главы,
 волошинский профиль отвесный,
дерево-память, где все — подтвержденье догадки:
райские кущи вторичны,
 вначале был рай поднебесный.

Близ перевала, где тропы все меньше пологи,
планером, птахой парила
 на токах легенды и были.
И у могилы стояла, подумав, что боги,
будь они смертны в Элладе,
 друг друга бы так хоронили —
вровень с вершинами, с небом и все же на суше,
благословенной Тавриде
 подобной хотя бы отчасти.
Лгут, что счастливее нас нерожденные души —
горя земного не зная,
 зато и великого счастья.

Чувств полнокровных испытывай нас амплитуда,
ты, прозорливая память,

и ты, незабывчивость зренья.

Все-то там было по мне. И пленяют оттуда
даже фрагменты, детали

картины, смещая мгновенья.

Пращур, что знал Средиземного моря соседство,
сердцу ль навеял, что ветром

таким же бывал он обласкан?

Светится ль мамино феодосийское детство
с улицей вдоль побережья,

неведомой мне Итальянской?

Да не прижиться уж там, словно в оранжерее,
теплого моря вдыхая

с туманом не смешанный запах,

чувствуя тягу иную, что много сильнее,—
города рек и каналов,

равнин твоих, Северо-Запад,

лета, с которым, скорей всего, выйдет осечка,
свежего воздуха,— листья

откружит он за три недели.

Зонт раскрывая, взгляну невзначай на колечко.

В этом агате, скажу я,

осталось тепло Коктебеля.

* * *

Теме этого дождя,
что звучит без вариаций,
видно, день и два спустя,
как старушке, повторяться.
Юный Моцарт нас забыл,
а Сальериеву бесу
раскрутить хватило сил
механическую пьесу.

Испытует не шутя
слух бездушная забава.
В монотонный шум дождя
звук подмешан, как отрава,—
кто-то явственно почти
с мелкой пылью водяною
так и хочет в дом войти
потолком, стеклом, стеною.

Шаткий мир, непрочный быт,
от конечного распада
вас пока еще хранит
ненадежная преграда.
И спешу, пером ведя
по листу бумаги, слыша
неуемный стук дождя
по окну и скату крыши.



Где изнутри фанерою обит
чердак — он принимает нас на лето,—
стекляшка, пустячок под малахит,
что вопиешь о роскоши нелепо?

Уж ни на вещи взгляд, ни на житье
не изменить. Зато без оговорки
прекрасно здесь сокровище мое —
трилистник мой,
вид из окна в три створки.

Толпа деревьев, яблоневый сад,
дорога между ними да ограда.
Но будто солнце льют и дождь струят
три неба и соседствуют три сада.

Ах, створки! Три отдельных череды,
три символа живых десятилетий:
цветенье в первой, во второй плоды
и увяданье медленное в третьей.



Как в опале,—

на сей раз изгнанник — предмет,
но знавал он и сытость, и голод,—
двухзеркальный буфет, двухэтажный буфет,
покорясь, перебрался за город.

С той поры за стеной не соседи, но сад,
дождь, гремящий в железную бочку.

Сам же замок дощатый в сезон шумноват,
а зимою тут жить в одиночку:

ждать за ставнями, по-стариковски скрипеть,
промерзая насквозь без движенья,
и, как в сумерки,

зеркалом нижним тускнеть,
чтоб весной изменить отраженья.

Бесполезно пенять. От плиты отступя,
чуть помедлю с готовкой и пробой.

И как будто увижу ребенком себя,
и подростком, и юной особой.

И от полок буфетных, от лакомых сот
в золотящейся солнечной были

обещанием полного счастья дохнет
запах специй — корицы, ванили.

И ведь знаю: стареют и облик, и статья,
стар буфет при фанерном прогрессе.

Но к такому лишь красться горошину брать,
затевая проверку принцессе.



Нет бабушки давно. Уж мало кто
теперь и вспомнит.

Вспомнив, уж не плачет.

А на гвозде висит ее пальто
под крышею двускатною на даче.

И виснут складки скопищем пустот,
особенно когда вблизи обнова
не так висит, не так себя ведет,
не так живет, сойдя с плеча живого.

И проходящий мимо товарняк,
гружен и тяжек почве худосочной,
раскачивает вместе с ним чердак,
дощатый, выстужаемый, непрочный.

Еще согреет, если холод лют,
собой укроет, если ночь зловеща.
Но ложь, что вещи дольше нас живут:
хозяин мертв — и угасают вещи.

И можно сокрушаться жизнь насквозь —
не любят ждать мгновенья роковые,
и наспех все, и так уж повелось —
запаздывают строки стиховые.

ПЕСНЯ О ПОРТНОМ

Не ходят беды стороной.
Но, как-никак, живет портной
в старинной песне, вдалеке,
в почти умолкшем языке.

Прихлынув, душу берedit
мотив сквозь местечковый быт,
погромы, гетто, газ печной,
рвы с шевелящейся землей.

У песни — песенный удел.
Осталась в тех, кто уцелел.
И я узнала не из книг
Шолом Алейхема язык.

Ее, по дому не снуя,
певала бабушка моя.
Ее доньне мой отец
поет, вздыхая под конец.

Выходит, я пошла в родню.
Перевести, о чем пою,
я попытаюсь, но прости —
точь-в-точь нельзя перевести:

«Все дни портной
сидит с иглой.
Встает чуть свет,
а хлеба нет.
Лишь знай держись —
кругом нужда.
Коль это — жизнь,
что смерть тогда?»

Не песня — кособокий кров.
Дом без еды, и печь без дров.
И над шитьем сидит, понур,
бедняк с юдовинских гравюр.

Его б от песни отделить.
Его б меж нами поселить.
Ему б вручить немедля дар —
зарплату или гонорар.

Ему б освоиться в судьбе
и словно бы не о себе
тянуть вполголоса напев,
чтоб не забыться, очерстев.



А если о неизлечимо больной
безвыходной теме,— как числить виной
сосны —

то, что в тесном подлеске еловом
она уродилась не елью, сосной?

Виновники — ветер, мгновение, рок,
а главное, случай, сберегший росток,
но ели, раскачиваясь в непогоду,
гудят не об этом, и чужд им упрек.

До розни ль, когда из небесных прорех
льет поровну, поровну сыплет на всех,
а молнии слепы и не выбирают,
сосну или ель поразить без помех.

На великодушии,
в противовес
предвзятости, зиждется смешанный лес.
Войдешь — за тобой разномастные тени
он выстроит, нечисти наперерез.

То хвойные иглы, то лист вырезной.
Не так ли у нас в толчее городской,
в соседстве мелькнув, оттеняют друг друга
белесая челка и чуб смоляной?..

* * *

Как я поживаю? Все так же,
как прежде, и в той же стихии.
Порою не верится даже,
что все мы — немного другие.

И путь мне все тот же — по грани,
где горе и счастье в помине.
И адрес на меридиане
с далекой поры и доньне.

И жизнь, леденя или грея,
всем сущим дивит, как впервые.
И так же меняет в нас время
не души — лишь клетки живые.

И что из того, что не схожи
дни с днями, а годы — с годами?
Все — так же, все — там же,

все — то же.

Все наше останется с нами.

* * *

Сверх словесной чепухи,
в восклицаньях, в междометьях,
вдруг вопрос, как бы о детях:
«Ну, а что твои стихи?»

Знай же, слышащий отчет
о таинственнейшем свойстве:
мало смысла в беспокойстве
о стихах.

За годом год
продолжала б жизнь идти —
знюем жечь, студить снегами.
А стихи возрастают сами,
неподвластны мне почти.



В перипетиях быта, бытия,
в заботах, принимаемых без жалоб,
видна под вечер в окнах жизнь твоя,
но и скрывать ведь нечего, пожалуй.

Былой уединенности печать
для наших судеб мало применима.
Как ни ловчить, как шторы ни сдвигать,
все та же ты, лишь больше уязвима.

Лучится в помощь ближних зданий вид —
укореняет к общности привычку.
Пронзив потемки, свет, что домовит,
и уличный вступают в переключку.

Как волнами, пронизан дом твой весь
неотторжимым ветром перемены.
Ко всем событиям, сколько их ни есть,
уже не глухи каменные стены.

И в новостях, идущих напролом,
светящийся, как бы лишенный веса,
фасад жилья, похоже, лишь прием
условный, как над сценою завеса.

* * *

Чей-то быт подошел к пересмотру.
Переехали смех и печали.
Старый дом, подлежащий ремонту,
как в войну, взрывники подорвали.

Стынут срезы квартир коммунальных
в снеговых ниспадающих шторах,
будто задники сцен театральных
без подмостков, кулис и актеров.

Кто еще не видал перемены,
на ходу остановится, охнув,
и немедля откликнутся стены
синим кобальтом, умброй и охрой.

И раздвинутся снега завесы,
и вернутся хотя бы на малость
водевили, трагедии, пьесы,—
что с того, что навек отыгралось!

* * *

Не получатель и не отправитель,
был, не как все, на почте посетитель.
Он возвестил, захлопнув дверь рывком:
— Я Амундсен! Слыхали о таком?

В похолодевшем, поутихшем зале
его глаза безудержно блуждали
и цели не искали никакой.
Что Амундсен ему, а не другой?

Невидимым цилиндром отчужденный,
обернут пустотой, как прокаженный
перемещался он, иль как чумной,—
ведь все юркнуть спешили стороной.

Шарахание это, в самом деле,
могло напомнить сцену из «Жизели»,
хоть не был соответственно одет,
причесан и обут кордебалет.

И если б кто-нибудь прочел те мысли,
что в воздухе надышанном повисли,
заговорила б классика сама
в словах: «Не дай мне бог сойти

с ума...»

Давно уж, точно предостереженье,
он трогает мое воображенье.
Нет-нет да и потянет холодком:
— Я Амундсен! Слыхали о таком?

Наверно, этот выбор не случаен
в том смысле, что, беспмятно-отчаян,
чужую, но ярчайшую судьбу
он примерял, неся ладонь ко лбу.

Свои у каждой участи прорехи,
свои неустранимые помехи.
А разум от безумья, как ни глянь,
наклонная отъединяет грань.

Что, если я скользну по ней, недлинной?
Я стану называть себя Мариной,
иль Анной, иль Сапфо.

И черта с два
скажу, что дочкой пекаря сова
была, по слухам, раньше...

ПРИХОД ЗИМЫ

И нет причин сходить с ума.
И невзначай вина прощается.
Так возвращается зима,
как будто детство возвращается.
И снова ни при чем мошна
с ее бумажными и медными.
И любо, стоя у окна,
следить полет снежинок медленный.

Еще ни горя, ни письма,
и счастья нет, но обещается.
Так возвращается зима,
как будто детство возвращается.
И нескончаемы года.
И все пути-дороги длинные.
И замирают, как тогда,
до листьев ветки тополиные.

* * *

Воробей-воробышек
с виду так обычен.
Воробей-воробышек
тем и симпатичен.

Ни на грамм вальяжности,
ни на грош фасона,
ни сознания важности
собственной персоны.

* * *

Для тщеславья глух и нем,
ни велик, ни мал,
оставайся-ка ничем,
если чем-то стал.

Вот и в кроне ветровой,
затенен, лучист,
выше, ниже,— лист живой
первым долгом лист.

* * *

Что согревает нам души тайком,
даже когда непогодит?
Что мы колдуем над белым листом,
даже когда не выходит?

Будто бы впрямь что-то весит улов,
пойманный мысленно в сети.
Будто бы впрямь от единственных слов
что-то зависит на свете.



Но мы, пожалуй, веселее...

Д. Самойлов

Чтобы взгляд с мельтешеньем не свыкся
и язык жаждал слов, как волшбы,
отразились друг в друге два сфинкса,
нагадали на жизнь две судьбы.
Постигала близ них я с натуры
кладкой строк и движеньем штриха
ленинградскую школу гравюры,
ленинградскую школу стиха.

Впитан мной на соблазны не падкий
строф и линий торжественный строй,
как балтийского ветра повадки
и Атлантики воздух сырой,
и преданья о судьбах опальных,
и в следах артобстрелов гранит,
и доныне непровинциальных
невских белых ночей колорит.

Есть, что помнить,

и есть, чему длиться.

Не ища ни молвы, ни щедрот,
в стороне от веселой столицы
мы еще поглядим, чья возьмет.
Поглядим, не унизив глагола
и резца не роняя из рук.
Ведь слова «ленинградская школа»
так же прочны, как «пушкинский круг».

* * *

А наши книги долго в свет выходят.
Выходят — и чудес не происходит.
Ну разве что их продадут за час.
Хоть бы и так, не жди, что указанье
вдруг отдадут об их переизданье:
не осчастливят никого из нас.

Ну разве что позднее постепенно
нечистый рынок, им назначив цену,
начнет мусолить наши имена.
Прослышим — и невольно улыбнемся,
и словно бы о камешек споткнемся —
вот и для нас нашлась-таки вина.

Ну разве что еще взамен оваций
и стол опустошивших публикаций
есть дальние и долгие права,
и тишина им вовсе не помеха,
и топка раскаленного успеха
ничто, — полусырые в ней дрова.



Надоедает в рифму говорить.
И вот концы не сходятся с концами
в моей строфе, которая подобна
семье, где стал главенствовать разлад.

Строка не отзывается другой,
две остальных самим себе внимают,
и все четыре завести готовы
уже вполне бессвязный разговор.

А мне, признаться, слышен диалог.
Он — вымысел. Так искушает проза,
да вроде грамматической аллеи
она всегда длинна, длинна, длинна.

И тут вдруг не на шутку заскучал
по рифме слух, не обольщен свободой.
Ведь если прозу с горною породой
сравнить, стихотворение — кристалл.

В нем вспыхивает временной поток
пророчеств, наблюдений, упований.
И ждущих поворота к свету граней
хватает, как и прежде, между строк.

СТИХОВОЕ ДЫХАНИЕ

1

Порою ранней ожиданья
судьбы, не сплошь сулившей милости,
я стих слагала из желанья
добра и жажды справедливости.

Поздней, когда шагнешь — и осыпь,
когда грозят развязкой молнии,
незаменим был стих как способ
восстановления гармонии.

Не дар — бессонный дух протеста,
знак вызова быстротекущему,
стих и теперь приходит вместо
спасения — поправкой к сущему.

2

Нет сил, чтоб не произнести
того, о чем в иной стихии
на их единственном пути
так редко говорят другие.

Без спроса стали мне судьбой
слова, их смыслы, текст летучий,
едины в стройности благой
своих целительных созвучий.

В разладе века, на краю
всех вариантов продолженья
пою, творю, боготворю
гармонию — залог спасенья.

Прозренья, думу, жар огня
в согласие впитывают знаки.
И меньше мучает меня,
что поверяется бумаге.

Какой ни заплачу ценой
за утоляющее средство,
нет сил не разглашать строкой
жизнь духа, разума и сердца.

3

Вроде участи молний,
живущих от вспышки до вспышки,
эта участь, что мучит
меж исповедей немотой.
Если что и коплю,
так тепло в тишине передышки,
стихового дыханья
лелея запас золотой.

Если что и беру —
с этих дней свои строки по нитке.
Если что и ловлю —
дорогие слова на лету.
От стиха до стиха,
от попытки живу до попытки
и собой остаюсь,
чтоб над бездною взять высоту.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| «Вот речь ведется снова...» | 5 |
| Сентябрь | 6 |
| «С какой поспешностью окно...» | 7 |
| «Птиц четверкой — временами года...» | 8 |
| Наводнение | |
| 1. «Оползают, бессонны...» | 9 |
| 2. «Впрямь с неслыханным упорством...» | 10 |
| Газетный снимок | 12 |
| «В глухом краю...» | 13 |
| «Все прочное — упрочится...» | 14 |
| «Вернемся, куда ни уедем...» | 15 |
| «Меж мостом и мостом...» | 16 |
| Старуха | 18 |
| «Когда непроглядно и худо...» | 19 |
| Последний долг | |
| 1. «С каждым горем...» | 20 |
| 2. «Вот стоишь ты рядом с тем...» | 20 |
| 3. «Не помним своего начала...» | 21 |
| Прощание | 22 |
| Авторское чтение | 25 |
| «Главнейшее из расстояний...» | 27 |
| «В адрес прошлого шуршит...» | 28 |
| Воспоминание о Пушкинских Горах | 29 |
| Старый замок | |
| 1. «Взгляд в окно поспешный...» | 31 |
| 2. «Узкая, витая...» | 31 |
| 3. «Сквозь просвет бойницы...» | 32 |
| 4. «Жить бы выше пашни...» | 32 |
| О глуposti | 33 |
| Две точки зрения | 34 |
| «Досказывая «Слово о полку»...» | 36 |
| «Вереницы подошв могут камень стереть...» | 38 |

| | |
|---|----|
| Подражание Гейне | 39 |
| Подарок | 40 |
| «В меру вещи любимы...» | 41 |
| «Такой благодатный...» | 42 |
| Портрет | 43 |
| Восьмистишия | |
| «Все то же до единой строчки...» | 44 |
| 1. «Что-то со мной происходит не то...» | 44 |
| 2. «Балованный, уверенный...» | 45 |
| 3. «Гляну колдуньей...» | 45 |
| 4. «Не пепел те письма, не дым...» | 45 |
| 5. «Вот карта — уменьшенный мир...» | 46 |
| 6. «Тесен мир, тесен свет...» | 46 |
| 7. «Свой у памяти круговорот...» | 47 |
| 8. «В далекой своей стороне...» | 47 |
| 9. «По влажным улицам хожу...» | 47 |
| 10. «Не порастает быть быльем...» | 48 |
| 11. «Прядется нитка тонкая...» | 48 |
| 12. «И поседею, и состарюсь...» | 49 |
| «Порознь полжизни прожито...» | 50 |
| «Рассиялся весь свет...» | 51 |
| «Незабываемому вслед...» | 53 |
| «Прогноз погоды, разговора нить...» | 54 |
| «Из тесной глубины...» | 56 |
| «Льются полосы света и тьмы...» | 57 |
| «О молодость моя!..» | 58 |
| «Вбирать дыханье морское...» | 59 |
| Сапфо | 60 |
| Зеркало | 62 |
| «Что ни вздумает лечь мне на плечи...» | 71 |
| «Держись за жизнь, душа...» | 72 |
| Гравюра на дереве | 74 |
| Канун весны | 76 |
| «Не обитать, как в раю...» | 79 |
| Башенные часы | 80 |
| «В нахмурившейся, пасмурной Литве...» | 81 |
| Вильяму Блейку | 82 |
| Собака | 84 |
| «Сижу над листом перед ночью в окне...» | 85 |
| «Каждый — справедливости должник...» | 86 |
| «Ни одного городка в табакерки...» | 87 |
| «На твое вероломство не зарясь...» | 88 |
| «То удача прильнет, то грозит...» | 89 |
| «Как ни желанно все, что благодать...» | 90 |

| | |
|--|-----|
| «Нрав ли, век ли виноват...» | 91 |
| Рукописный шрифт | 92 |
| «Все набело у нас, а надо бы черне...» | 93 |
| «Наши с тобой заповедные дали...» | 94 |
| «Сам себе подсудимый и суд...» | 95 |
| Утраченные стихи | 96 |
| Возвращение с юга | 98 |
| Агат | 100 |
| «Теме этого дождя...» | 102 |
| «Где изнутри фанерою обит...» | 103 |
| «Как в опале...» | 104 |
| «Нет бабушки давно...» | 105 |
| Песня о портном | 106 |
| «А если о неизлечимо больной...» | 108 |
| «Как я поживаю?..» | 109 |
| «Сверх словесной чепухи...» | 110 |
| «В перипетиях быта, бытия...» | 111 |
| «Чей-то быт подошел к пересмотру...» | 112 |
| «Не получатель и не отправитель...» | 113 |
| Приход зимы | 115 |
| «Воробей-воробышек...» | 116 |
| «Для тщеславья глух и нем...» | 117 |
| «Что согревает нам души тайком...» | 118 |
| «Чтобы взгляд с мельтешеньем не свыкся...» | 119 |
| «А наши книги долго в свет выходят...» | 120 |
| «Надоедает в рифму говорить...» | 121 |
| Стиховое дыхание | |
| 1. «Порою ранней ожиданья...» | 122 |
| 2. «Нет сил, чтоб не произнести...» | 122 |
| 3. «Вроде участи молний...» | 123 |

Ася Исаковна Векслер

Зеркальная галерея

Л.О. изд-ва «Советский писатель», 1989 г.
128 стр. План выпуска 1989 г. № 178.

Редактор И. С. Кузьмичев
Худож. редактор Б. А. Комаров
Техн. редактор Е. Б. Спрукт
Корректор Е. Я. Лапинь

ИБ № 7078

Сдано в набор 26.05.88. Подписано к печати
31.10.88. М24205. Формат 70×100¹/₃₂. Бумага
офс. № 1. Академическая гарнитура. Офсетная
печать. Усл. печ. л. 5,20. Уч.-изд. л. 3,35. Тираж
10 000 экз. Заказ № 1586. Цена 40 коп.

Ордена Дружбы народов издательство «Совет-
ский писатель». Ленинградское отделение.
191104, Ленинград, Литейный пр., 36.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудо-
вого Красного Знамени Ленинградское произ-
водственно-техническое объединение «Печатный
Двор» имени А. М. Горького Союзполиграф-
прома при Государственном комитете СССР по
делам издательств, полиграфии и книжной тор-
говли. 197136, Ленинград, П-136, Чкалов-
ский пр., 15.



B

W

